

П. Воге

## ЛЮЦИФЕР ДОСТОЕВСКОГО О рассказе «Сон смешного человека»

В «Голосе из хора» Андрей Синявский упоминает о «вечной жажде русских авторов написать вместо романа евангелие». Льва Толстого эта жажда привела к довольно конкретному результату: он исключил из Нового завета все, показавшееся ему непонятым, противоречивым или мистическим, и объединил Евангелия от Матфея, Марка и Луки и Иоанна в одно — от Льва Толстого. Эта книга вышла под названием «В чем моя вера», христианство в ней сводилось к системе нравственных правил, основанных на шести христианских заповедях.

Все зрелое творчество Достоевского также можно рассматривать как попытку писателя выразить идею христианства в соответствии с личным опытом и миропониманием; но если учение Толстого прямолинейно до банальности и односторонности, то мысли Достоевского обладают многообразием, доходящим до парадоксов и туманности. «Евангелие» Достоевского охватывает национализм и универсализм; оно включает как убийство и самоубийство, так и величайшее жертвоприношение. Среди его героев мы встречаем холодного, демонического Ставрогина и возвышенного, богоподобного князя Мышкина.

Достоевского интересовал человек в духовном преображении. Последние пятнадцать лет своей жизни он работал над планами к большому произведению, роману — «Житие великого грешника», в котором хотел показать духовный путь личности от детской веры к атеизму и преступлению, и вновь к вере, но уже зрелой, осознанной и свободной. Роман так и не был написан, но из заметок Достоевского и из предисловия к роману «Братья Карамазовы» можно видеть, что роман «Братья Карамазовы» был задуман, как первый том большой серии, в которой автор собирался рассказать об Алешином пути от веры к сомнению и отчаянию — и снова к вере. Одновременно мы можем смотреть на все большие романы Достоевского как на несколько беспорядочные главы одного задуманного произведения и обнаружить, что житие великого грешника фактически написано, только «великий грешник» предстает под разными именами. Так или иначе Достоевскому, в любом случае, удалось создать своего рода эскиз, или маленькую модель этого романа — загадочный, «фантастический» рассказ: «Сон смешного человека».

Достоевский называл свой стиль «фантастическим реализмом» не потому, что был фантастом, но потому, что для него фантастическое — это не только часть действительности, но важнейшая и наиболее значительная ее часть. Основы этой действительности невидимы, скрыты, их можно передать только через необычное, через абсурд.

Мир мечты и фантазии составляет одно из тех пространств, в которых мы наиболее приближаемся к высшей действительности, и образ «мечтателя» можно считать одной из основных красок палитры Достоевского. Сострадание к бедным, униженным, часто неприятным существам, мотив двойника и разоблачение рационализма — вот другие его важнейшие краски. Как красный, желтый и синий образуют оптический спектр, так и цвета Достоевского могут смешиваться во все другие оттенки. Каждый цвет в отдельности представлен у Достоевского еще до того, как творчество писателя раскрылось в его больших романах: мечтателя мы найдем в «Белых ночах» (1847), остальные наиболее четко видны в дебютном романе «Бедные люди» (1845), в «Двойнике» (1846), в «Записках из подполья» (1864).

В «Сне смешного человека» главные цвета смешаны и образуют одно, многоцветное целое, представляющее собой весь мыслительный, идейный и фантастический мир Достоевского, его «Евангелие» в миниатюре. Если мы рассмотрим обстоятельства накануне публикации, «действительность» Достоевского в период работы над «Сном смешного человека», то на фоне исторических и биографических событий рассказ предстанет как точка кристаллизации противоположности между Достоевским–полемистом и Достоевским–художником. Рассказ — одно из главных произведений писателя, окно на некоторые из парадоксов, лежащих в основе его творчества, отдельные из которых настолько фантастичны, что, пожалуй, вызовут удивление даже у «фантастического реалиста».

С самого детства главный герой ощущал себя не таким, как все, но, хотя он и был смешон, у него все же не было недостатка в гордости. Чувство своей разьединенности с остальными постепенно переросло в нем в полное равнодушие. Смешной человек решил, что мир существует только в его представлении и ничего другого, что могло бы касаться его, вне его самого не существует. Ему стало абсолютно все равно, будет ли мир продолжать свое существование или исчезнет, пока однажды ему не раскрылась истина, заставившая его полюбить всех своих насмешников. Смешной человек возвращался домой в свой убогий, отвратительный угол в Петербурге. Вечер был таким мрачным, что казалось, мрачнее никогда еще не бывало. «С явной враждебностью к людям» лил дождь, но неожиданно прояснилось, и Смешной человек увидел небольшую звезду, вид которой навел его на мысль, что именно этой ночью он покончит с собой. Револьвер давно уже был им куплен, но все настолько стало безразличным, что даже стреляться или нет было все равно. Пока он стоял и, глядя на звездочку, решал убить себя сего-

дняшней ночью, к нему подбежала девочка: «Девочка была лет восьми, в платочке и в одном платьишке, вся мокрая, но я запомнил особенно ее мокрые разорванные башмаки, и теперь помню. <...> Она вдруг стала дергать меня за локоть и звать. Она не плакала, но как-то отрывисто выкрикивала какие-то слова, которые не могла хорошо выговорить, потому что вся дрожала мелкой дрожью в ознобе. Она была отчего-то в ужасе и кричала отчаянно: „Мамочка! Мамочка!“» (25; 106). Он припугнул девочку так, что она отстала. Если ему все безразлично, то тогда не все ли равно, помогать или не помогать девочке.

Придя домой, он уселся перед револьвером, но мысль о девочке все же мучила его. У него появилось подозрение, что ему, видимо, не совсем все равно; он злился от этого, а мысли снова вертелись вокруг идеи о том, что мир зависит от него и создан только для него и что если бы он застрелился, то мир наверняка перестал бы существовать не только для него, но и вообще бы исчез.

Разве мир не всего лишь призрак? Мысли текли одна за другой, до тех пор пока Смешной человек не почувствовал, что не может умереть, не решив вопросов, круживших в его голове: «Одним словом, эта девочка спасла меня, потому что я вопросами отдалил выстрел» (25; 108). Вместо того чтобы застрелиться, он уснул, сидя в кресле, и ему приснился сон.

Ему снилось, будто бы он взял револьвер и, хотя все время собирался стрелять в висок, приставил его к сердцу, спустил курок и умер. Его похоронили, но он заметил, что даже в гробу остается в сознании. Это привело его в негодование, и он воззвал к создателю, который, видимо, все-таки существовал: «Кто бы ты ни был, но если ты есть и если существует что-нибудь разумнее того, что теперь совершается, то дозвожь ему быть и здесь. Если же ты мстишь мне за неразумное самоубийство мое — безобразием и нелепостью дальнейшего бытия, то знай, что никогда и никакому мучению, какое бы ни постигло меня, не сравниться с тем презрением, которое я буду молча ощущать, хотя бы в продолжении миллионов лет мученичества!» (25; 110).

Как бы в ответ могила раскрылась и Смешной человек был поднят вверх каким-то существом, увлекавшим его в космос. Он ощутил темноту, еще более густую, чем тем вечером в Петербурге. Во мраке Смешной человек снова увидел звезду, и существо сообщило, что это та самая, на которую он смотрел с Земли. Увлекаемый своим спутником сквозь пространство и время, Смешной человек несся к этой звезде. Все известные ему созвездия скрылись из вида. «И вдруг какое-то знакомое и в высшей степени зовущее чувство сотрясло меня: я увидел вдруг наше солнце! Я знал, что это не могло быть *наше* солнце, породившее *нашу* землю, и что мы от нашего солнца на бесконечном расстоянии, но я узнал почему-то, всем существом моим, что это совершенно такое же солнце, как и наше, повторение его и двойник его. Сладкое, зовущее чувство зазвучало восторгом в душе моей: родная

сила света, того же, который родил меня, отозвалась в моем сердце и воскресила его, и я ощутил жизнь, прежнюю жизнь, в первый раз после моей могилы» (25; 111).

Существо опустило нашего героя вниз, «на один из тех островов, которые составляют на нашей земле Греческий архипелаг, или где-нибудь на побережье материка, прилегающего к этому архипелагу» (25; 112). Все, на первый взгляд, было таким же, как на Земле, и все-таки совсем другим. Вся атмосфера, земля, растения, птицы как бы дышали любовью. «И наконец, я увидел и узнал людей счастливой земли этой. <...> О, я тотчас же при первом взгляде на их лица, понял все, все! Это была земля, не оскверненная грехопадением, на ней жили люди не согрешившие, жили в таком же раю, в каком жили, по преданиям всего человечества, и наши согрешившие прародители, с тою только разницею, что вся земля здесь была повсюду одним и тем же раем» (25; 112).

Смешной человек видел, как эти люди говорили со всей природой, как они жили в союзе с животными, травами, деревьями, как они были наполнены знанием, исходившим из иных источников, чем на Земле. Они не стремились объяснить жизнь, они знали ее — просто жили ею. Им были незнакомы ни борьба, ни ревность, ни желанья, ни горе смерти. Они умирали, и у них рождались дети, но это происходило без страха и без страстей. Жизнь в своем многообразии была радостью, которой они делились. «Это была какая-то влюбленность друг в друга, всецелая, всеобщая» (25; 114). Смешной человек понимал почти все, о чем говорили и что происходило вокруг, он сам пытался рассказать о своей Земле. Люди слушали, но как бы не совсем его понимали. Постепенно Смешной человек стал учиться у них. Он начал догадываться, что за прежними равнодушием и высокомерием у него всегда было предчувствие, что все должно быть именно таким, как здесь: «Я часто говорил им <...> что в ненависти моей к людям нашей земли заключалась всегда тоска» (25; 114). Бывший самоубийца теперь наполнен тоской по жизни, которая и здесь перерастает в глубокую боль: «Я видел их сам, их познал и убедился, я любил их, я страдал за них потом» (25; 113). Потому что не только Смешной человек учится у людей планеты, но и они учатся у него, они познают грех.

«Да, да кончилось тем, что я развратил их всех! Как это могло совершиться — не знаю, не помню ясно. Сон пролетел через тысячелетия и оставил во мне лишь ощущение целого. Знаю только, что причиною, грехопадения был я. Как скверная трихина, как атом чумы, заражающий целые государства, так и я заразил собою всю эту счастливую, безгрешную до меня землю. Они научились лгать и полюбили ложь и познали красоту лжи. О, это, может быть, началось *невинно*, с шутки, с кокетства, с любовной игры, в самом деле, может быть, с атома, но этот атом лжи проник в их сердца и понравился им. Затем быстро родилось сладострастие, сладострастие породило ревность, ревность — жестокость... О, не знаю, не помню, но скоро, очень скоро брызнула первая кровь:

они удивились и ужаснулись, и стали расходиться, разъединяться» (25; 115–116).

Если раньше люди ценили жизнь выше науки, счастье выше законов счастья, то теперь наука стала их высшей целью. Только с ее помощью они надеялись вновь обрести счастье. Хотя они все еще слабо помнили о прежней своей жизни, но она превратилась уже в хрупкую мечту, на которую они молились в своих храмах. Смешной человек, наоборот, хорошо помнил, какой была жизнь, до того как он все разрушил. Он ходил среди этих людей, плакал и ломал руки. Если он и раньше любил их и эту землю, еще бывшую раем, то теперь он еще больше любил все это, теперь, когда планета и лица людей были искажены страданием. Когда люди планеты теряют свой рай, Смешной человек вновь обретает его. От прежнего, занятого собой «современного русского прогрессиста», как он сам себя называет, теперь не осталось и следа. «Увы, я всегда любил горе и скорбь, но лишь для себя, для себя, а об них я плакал, жалея их. Я простирал к ним руки, в отчаянии обвиняя, проклиная и презирая себя. Я говорил им, что все это сделал я, я один, что это я им принес разврат, заразу и ложь! Я умолял их, чтоб они распяли меня на кресте, я учил их, как сделать крест» (25; 117). Люди смеялись над ним, называли его чудаком, пока наконец не объявили, что он начинает быть опасным, и грозили запереть его в сумасшедший дом.

В момент, когда наш герой становится на планете таким же смешным и нелепым, каким он был в Петербурге, он просыпается в своем кресле. Но в нем нет и следа презрения и самобичевания; вместо раскаяния и отчаяния за развращение целой планеты его наполняет великая радость. Он видел «живой образ» истины и знает, что люди могут быть прекрасными и счастливыми; он видел, что зло не является нормальным состоянием человека: «Я поднял руки и воззвал к вечной истине; не воззвал, а заплакал; восторг, неизмеримый восторг поднимал все существо мое» (25; 118). Теперь о самоубийстве не могло быть и речи. Смешной человек жаждал жизни, он осознал свой долг: «Да, жизнь, и — проповедь! О проповеди я порешил в ту же минуту и, уж конечно, на всю жизнь! Я иду проповедовать, я хочу проповедовать, — что? Истину, ибо я видел ее, видел своими глазами, видел всю ее славу!» (Там же). Смешной человек, конечно, понимает, что все, что он видел, всего лишь сон, но это для него не имеет никакого значения. Он исполнен невыразимой словами, но единственно возможной истины: «Но вот этого насмешники и не понимают: „Сон, дескать, видел, бред, галлюцинацию“. Эх, неужто это премудро? А они так гордятся! Сон? что такое сон? А наша-то жизнь не сон? Больше скажу: пусть, пусть это никогда не сбудется и не бывать раю (ведь уже это-то я понимаю!), — ну, а я все-таки буду проповедовать. А между тем так это просто: в один бы день, в один бы час — все бы сразу устроилось!» (25; 118–119).

Маленькую девочку, без которой не было бы ни сна, ни переживания, ни открытия истины, Смешной человек разыскал и помог ей.

В романах Достоевского мы найдем множество снов и бредов, перерастающих иногда в настоящие видения или галлюцинации, но тем не менее имеющих важное значение для действия и для идеи, которую стремится передать автор. Раскольников в «Преступлении и наказании» видит несколько бредовых снов-видений. Один из последних снится ему уже в остроге и представляет собой завершенную и в то же время преображенную картину его преступной идеи, делящей человечество на обыкновенных — дрожащую тварь, рабски следующую за вождями, и людей исключительных, которым все дозволено, без колебаний идущих на любые преступления ради своей идеи. Таких, как Наполеон, а возможно, и сам Раскольников. Сон, вернее, кошмар, снится ему в горячке, ему представляется человечество, пораженное неизвестной моровой язвой: «Все должны были погибнуть, кроме некоторых весьма немногих, избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей» (6; 419). Зараженные сходили с ума, но болезнь проявлялась в том, что сами больные считали себя неоспоримыми обладателями истины. В результате люди стали кидаться друг на друга, начались массовые убийства, борьба всех против всех: «Спастись во всем мире могли только несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видел этих людей, никто не слышал их слова и голоса» (6; 420).

Этих людей видел герой «Сна смешного человека», и он одновременно был источником такой же болезни, которая свирепствует в бреде убийцы. Смешной человек сам та опустошающая мир трихина, тот «атом чумы» из сна Раскольникова. На его планете те же признаки эпидемии: раздор, уверенность в своей непоколебимой истине, война всех против всех. Но позже Смешной человек окажется способным нести истину о мире, каким он, по мнению Достоевского, может и должен быть, если бы не алчущий эгоизм. Даже такой «атом чумы», как Смешной человек, в конце концов может познать истину и помочь ребенку, которого прежде оттолкнул, находясь в плену у себя самого, только и думая о самоубийстве. Когда мы знакомимся с обстоятельствами, при которых рассказ был написан, то у нас может сложиться впечатление, что и сам автор нуждался в подобном обновлении.

«Сон смешного человека» был опубликован в журнале Достоевского «Дневник писателя» 1877 г. и составлял вторую главу апрельского номера. Первая глава состояла из трех статей под заглавиями: «Война. Мы всех сильнее», «Не всегда война была бич, иногда и спасение», «Спасет ли пролитая кровь?». Исторической основой этих статей был конфликт между Россией и Турцией за право господства на Балканах. 12 апреля царь объявил Турции войну. Достоевский к тому времени много выступал за русские военные действия. Для него война была средством осуществления так называемой «славянской идеи»: все славяне, включая «младших братьев» на Балканах, сербов и болгар, долж-

ны вступить в союз под русским знаменем. Тогда славянской расе (славянам — «имеющим слово») удастся наконец сказать Европе свое последнее, спасительное слово. Эта проповедь в устах Достоевского звучит как националистическая карикатура на «Сон смешного человека»: «Россия, вкупе со славянством и во главе его, скажет величайшее слово всему миру, которое тот когда-либо слышал, — читаем мы в январском номере журнала, — и <...> это слово именно будет заветом общечеловеческого единения, и уже не в духе личного эгоизма, которым люди и нации искусственно и неестественно единятся теперь в своей цивилизации <...>. Идеалом славянофилов было единение в духе истинной широкой любви, без лжи и материализма и на основании личного великодушного примера, который предназначено дать собою русскому народу во главе свободного всеславянского единения в Европе» (25; 20). Спасительное слово, как таковое, не может быть передано с оружием в руках, а только славянским примером братства и любви к ближнему, но так как остальной мир столь враждебно настроен к России, то войны не избежать. За спиной Турции Достоевский чувствует поддержку Англии и Франции: не эти ли могущественные державы всего несколько десятилетий назад предпочли турецкую сторону вместо Святой Руси? А ведь борьба велась за христианство. Все это показывает, что истинная вера сосредоточена под сенью православной церкви и будущее цивилизации лежит в руках православной державы: Россия — истинная наследница Рима; ее кесарь — царь управляет наследием святых отцов и христианских мучеников. Первый Рим поддался еретическим соблазнам в 1054 г., когда разъединились западная и восточная церкви. Вторым Римом — Византия или Константинополь не устоял под натиском мусульманской Турции в 1453 г. Москва продолжала быть Третьим, последним Римом и для Достоевского. Поэтому в марте 1877 г. он пишет статью под названием: «Еще раз о том, что Константинополь рано или поздно должен быть наш».

Константинополь можно было вернуть только путем священной войны, так как турки и Европа оставались глухи и к законному притязанию России на бывшую имперскую столицу, и к истине, которую несла Россия. Да и внутри страны также имелись значительные силы, не желавшие откликнуться на призыв. Русскому обществу не доставало чувства самоуважения и способности постигнуть эту побуждающую на подвиг высшую истину. Достоевский пишет в статье «Война. Мы всех сильнее», находящейся непосредственно перед рассказом «Сон смешного человека»: «Нам нужна эта война и самим: не для одних лишь „братьев-славян“, измученных турками, поднимаемся мы, а и для собственного спасения: война освежит воздух, которым мы дышим и в котором мы задыхались, сидя в немощи рабства и в духовной тесноте» (25; 95).

Россию разрывали внутренние конфликты, страна была отравлена влиянием интеллигенции, во всем потакающей Европе и поставившей

разум и рационализм выше старых русских добродетелей: веры и смирения. Представители интеллигенции только сеяли недоумение и еще больше ослабляли подлинную Россию. Они проповедовали либерализм и не видели, что сила России заключается в истинном, основанном на любви союзе царя и народа. Да и Европа позволяет себя обманывать этим «мудрецам». Поэтому, продолжает Достоевский, «народную силу, народный дух все проглядели, и облетела Европу весть, что гибнет Россия, что ничто Россия, ничто была, ничто и есть и в ничто обратится, дрогнули сердца исконных врагов наших и ненавистников, которым мы два века уж досаждаем в Европе, дрогнули сердца многих тысяч жидов еврейских и миллионов вместе с ними жидовствующих „христиан“; дрогнуло сердце Биконсфильда: сказано было ему, что Россия все перенесет, до самой срамной и последней пощечины, но не пойдет на войну — до того, дескать, сильно ее „миролюбие“. Но Бог нас спас, наслав на них на всех слепоту; слишком уж они поверили в погибель и в ничтожность России, а главное—то и проглядели. Проглядели они весь русский народ, как живую силу, и проглядели колоссальный факт: союз царя с народом своим!» (25; 97).

Это не единственный и не самый сильный пассаж в статьях Достоевского, где мы встречаем рьяный антисемитизм. Писатель распространяет свою ненависть не только на евреев, он ругает и критикует «с русской точки зрения» все западноевропейские народы. Достается и славянам—полякам, они причисляются к великим изменникам, которые, пренебрегнув своей кровью, избрали католичество, так же как и хорваты на Балканах. И как мы можем узнать стиль художника в приведенных выше цитатах, так же иногда мы замечаем коготь национализма в его романах и рассказах. Это объясняется фактом, о котором Достоевский пишет в статье «Примирительная мечта вне науки» (январь 1877 г.): «Всякий великий народ верит и должен верить, если только хочет быть долго жив, что в нем—то, и только в нем одном, и заключается спасение мира, что живет он на то, чтоб стоять во главе народов, приобщить их всех к себе воедино и вести их, в согласном хоре, к окончательной цели, всем им предназначенной» (25; 17). По такой мерке Достоевского можно отнести к настоящим русским, так как он *не* сомневался в том, что русские призваны спасти мир, поглотив собой все другие народы.

Мечта о собственной национальной идее и вера в принадлежность к народу—спасителю были равно распределены между всеми европейскими нациями во времена Достоевского. Британский теоретик и империалист Сесил Роудс (1853–1902) писал, например: «Я утверждаю, что мы ведущая раса в мире и чем больше мира заселим собою, тем лучше для всей остальной человеческой расы <...>. Если Бог существует, то я полагаю, что Его воля состоит в том, чтобы я как можно большую часть карты Африки закрасил британской краской».

Антисемитизм также являлся одной из темных страниц того времени, и, хотя особенно сильным он был в России, Восточной Европе и



в Германии, свои первые теоретические основы он получил во Франции; их автор — граф Гобино (1816–1882), разработавший широкую теорию, в которой он делит человечество на три первоначальные особые расы, каждая из которых имеет только для нее характерный язык. Какое-либо взаимопонимание или контакт между расово-языковыми границами не представлялись ни возможными, ни желательными.

Последствия, которым содействовал национализм и антисемитизм Достоевского, как будто написаны трагическим поэтом из тех мест, в которых побывал Смешной человек. Как художник Достоевский открыто обходился со своими демонами. В романах он без морализма представляет убийц и самоубийц, растлителей детей и террористов, но он не оставляет сомнения в том, что главная его цель как художника заключается в другом. Читателю нелегко различать Достоевского и его демонических двойников. В свое время шовинизм Достоевского способствовал распространению мнения о нем, как о ведущем писателе страны, который в своем «Дневнике писателя» представляет совесть народа. Почти сорок лет спустя после смерти Достоевского, когда разразилась первая мировая война, в русском сознании все еще маячили идеи Достоевского о принципах крови: Россия якобы обязана была защищать сербов. Война обернулась для страны революцией большевиков, и если Достоевский в кругах русской интеллигенции занимал позицию прямо противоположную взглядам предшественников Ленина, то большевистское представление о России как об авангарде в деле спасения человечества было как близнец похоже на мнение самого Достоевского. Большевики были также бурно воодушевлены патриотизмом и равным по силе универсализмом, основанными на последней истине.

1914 год был годом начала катастрофической мировой войны, в это же время под редакцией Артура Мёллера ван ден Брука впервые вышел в свет немецкий перевод полного собрания сочинений Достоевского. Ван ден Брук познакомился тогда же с русским писателем и философом Дмитрием Мережковским, который посвятил его в русскую мистику и в представление о Москве как Третьем Риме. Эту идею Брук совместил с идеей Третьего царства Юакима да Фьюори и в 1923 г. выпустил книгу о Третьем рейхе и о роли Германии в грядущей немецкой революции. В книге Брук не упоминает о Достоевском, так как речь все-таки идет о Германии, но его пренебрежительные отзывы о британском либерализме и рационализме как будто взяты из «Зимних заметок о летних впечатлениях». В предисловии английского издания 1934 г. говорится: «„Третий рейх“ вызывает в памяти образы Третьего Рима Достоевского, они окрашивают мысли и стиль: страстные и пророческие по форме, почти ощутимо пропитанные кровью». «Третий рейх» будет смочен таким количеством крови, о котором автору книги и не снилось. Сам Ван ден Брук в 1925 г. покончил жизнь самоубийством, но его книга дала название мечте Адольфа Гитлера о Великой Германии, одним из прародителей которой был граф Гобино.

Попытка осуществления мечты о третьем рейхе оставила за собой миллионы жертв, среди которых 6 миллионов евреев и около 20 миллионов русских.

Пока Достоевский—публицист призывал к войне с немцами и тем самым вносил свой вклад в духовный облик конфликта, последствия которого не смог бы вообразить себе и фантастический реалист, Достоевский—художник написал историю о рае, погибшем от «атома чумы». Национальное безумие было одним из признаков разрушения, но уже на поздней стадии болезни. Источник заражения находилось глубже, он скрывался в стремлении человеческого индивида к обособлению, в скептическом отрицании его разумом целостной истины Бога. Герой «Сна смешного человека», распространивший болезнь, принадлежит к твердым русским либералам. Он настоящий петербургский интеллигент, гражданин города, который Достоевский в «Записках из подполья» называет «самым отвлеченным и умышленным городом на всем земном шаре» (5; 101). Поэтому Смешной человек не верит в Бога, а полагается на науку и научный анализ: «Мне, как современному русскому прогрессисту и гнусному петербуржцу, казалось неразрешимым то, например, что они (люди с планеты. — П. В.), зная столь много, не имеют нашей науки» (25; 113), — говорит он, и мы узнаем полемику Достоевского с западной интеллигенцией на страницах его журнала, где был опубликован «Сон смешного человека». Художник всегда зорче политика, несмотря ни на какое визионерство политика. Антисемитизм и шовинизм Достоевского делают его одним из многих; «трихины» национализма как во времена Достоевского, так и в наши дни воспаляли не одну в остальном светлую голову. Но как художник Достоевский является единственным в своем роде. Наверное, поэтому есть доля справедливости в том, что история набросила покрывало на его политические взгляды, хотя сам Достоевский рассматривал свое писательское творчество и журналистскую работу как одно целое. Они переплетаются друг с другом, но только как художник Достоевский становится Достоевским.

В «Сне смешного человека» собраны нити всех больших романов Достоевского. Князь Мышкин в «Идиоте» близок к целостности жизни, он обладает той искренностью, которую мы узнаем в людях на планете Смешного человека; Версиков в «Подростке» мечтает о «золотом веке», где люди пребывают в таком же состоянии рая; старец Зосима в «Братьях Карамазовых» проповедует людям ту же истину, что и Смешной человек: жизнь — это рай, если бы мы только осознали это, то сразу и очутились бы в раю. Мы находим черты Смешного человека и в некоторых героях «Бесов»: Кириллов убивает себя по-настоящему, но если он был горячо захвачен своей идеей логического самоубийства, спасающего мир, то Смешной человек изначально равнодушен и холоден — как Никопай Ставрогин из тех же «Бесов».

Ставрогин — ключевая фигура в мире романов Достоевского, он подводит нас к пониманию истинной природы Смешного человека. Ставрогину и хотелось бы жить полной жизнью, любить и быть любимым, но вместо этого он выбирает свою волю. Его внутренний холод становится внешним огнем, который поглощает все и всех вокруг него. Ставрогин и его последователь — Смешной человек имеют один общий прообраз в русской литературе, в лице главного героя поэмы Лермонтова «Демон». Демон также не способен ни на что другое, кроме как губить того, кого любит: он не может разрушить границ своего «я» и слиться с миром. Тот факт, что Достоевский создает Смешного человека и некоторых других своих крупных героев по модели, которой Лермонтов дал верное название «Демон», не случаен. Когда мы узнаем, что Смешной человек — дитя «родной силы света» (25; 111), что он оказывается на одном из островов Греческого архипелага и, наконец, что он губит рай на планете, мы начинаем догадываться, что перед нами не кто иной, как Люцифер. В «Сне смешного человека» представлен не просто образ падшего ангела. Достоевский показывает переживание греха и его последствий с позиции самого Соблазителя.

Люцифер значит «светоносный», но также и «утренняя звезда» — Венера или Афродита, богиня, родившаяся, следуя греческой мифологии, на Кипре — «на одном из тех островов, которые составляют на нашей земле Греческий архипелаг» (25; 112). Как свет утренней звезды незадолго до рассвета кажется ярче солнечного, так и средневековая легенда о Люцифере на мировом и мифологическом рассвете грозила затмить самого Бога Отца. Люцифер принадлежал к наивысшим среди архангелов, но стремился к большему. Он взбунтовался против небесного порядка, желая свергнуть Бога-творца с его трона, чтобы самому стать самым могущественным. Но это ему не удается, вместо этого он низвергается в преисподнюю, где, следуя традиционным преданиям, и пребывает под именем Сатаны. Люцифер известен также и в другом образе: в раю, в личине змея, он соблазняет Адама и Еву, предлагая им вкусить от древа познания и обещая им, что они «будут как боги, знающие добро и зло». Отведав запретного плода Адам и Ева видят свою наготу. Они и раньше были наги, но только теперь стали стыдиться себя.

В греческой мифологии, с которой намечает связь Достоевский через описание планеты, на которой оказался Смешной человек, Прометей — «предвидящий, мыслящий прежде» играет освободительную и проклятую роль Люцифера. Он крадет у Богов огонь и дарит его людям, за что Зевс, желая отомстить, посылает в дар брату Прометея, Эпиметею — «крепкому задним умом, думающему после», прекрасную женщину Пандору. Пандора открывает сосуд, данный ей в придачу, и из него вытекает все мировое зло: болезни, несчастья, нужда и смерть обрушиваются на людей. Только надежда остается на дне сосуда, как остается она и в иудейско-христианском рае, несмотря на грехопадение: хотя люди и вкусили от древа познания, древо жизни ее не тронута и охраня-

ется «херувимом с пламенным мечом». В мифе за свой бунт наказываются не только люди, но и бог: Прометей приковывают к скале и орел клюет ему печень. Золотой век, который видел Смешной человек и о котором мечтал Версиров, завершается борьбой Прометей с Зевсом.

Образ греческого Прометей более двойствен, чем образ иудейского змея. Хотя обе эти фигуры приносят людям и освобождение и проклятие, в легенде о Прометее освобождающий огонь занимает более центральное место, чем самостоятельное мышление в рассказе о грехопадении. С позиции богов в обоих случаях речь идет о бунте против установленного порядка; с точки зрения людей можно говорить об освобождении человека.

Смешной человек изначально имеет о себе представление как о сверхчеловеке. Он «по-люциферски» утверждает, что свергнул Бога с его трона и сам занял его место. Он считает, что мир существует только в его представлении, и в то же время глубоко презирает этот мир; ему, как и лермонтовскому демону, не удается связать себя с ним. Другими словами, Смешному человеку, как и Люциферу–Сатане, знакомы только тоска по высшему и свое проклятое существование в низшей действительности. Мира середины со всеми его нюансами он не признает. Он прогоняет несчастную девочку, считая, что ее судьба не имеет к нему отношения. В его мире существует только один центр — он сам. Даже после того, как Смешной человек во сне спускает курок револьвера, как бы подводя итог своему презрению, он не может примириться с тем, что в космосе существует начало, стоящее выше его, даже бесконечная мука — участь Прометей, не укрощает его тщеславия: «Кто бы ты ни был, но если ты есть и если существует что-нибудь разумнее того, что теперь совершается, то дозволяй ему быть и здесь. Если же ты мстишь мне за неразумное самоубийство мое — безобразием и нелепостью дальнейшего бытия, то знай, что никогда и никакому мучению, какое бы ни постигло меня, не сравниться с тем презрением, которое я буду молча ощущать, хотя бы в продолжение миллионов лет мучительства» (25; 110).

Важное значение, которое сон имеет в рассказе, также подчеркивает то презрение к миру и стремление к высшему, если не сказать — к предвидящему знанию Прометей, которые несет в душе Смешной человек. Не размышления после, а предвидение раскрывает ему глаза: не тяжелое одностороннее земное знание ведет Смешного человека к самому себе, открывает истину, но свободное от логики или каких-либо других сужающих рамок невесомое состояние, где все воспринимается в образах.

Так как Люцифер когда-то принадлежал к самым возвышенным существам, он не может окончательно уничтожить искру любви и интереса к миру, жившую в нем однажды, — или, может быть, это необычный для нас взгляд Достоевского на природу падшего ангела. Как мы видим, Смешной человек, несмотря на все свое презрение к миру и за-

нятость собой, мучается мыслью о девочке. Это переживание и спасает его под конец, но прежде ему предстоит осуществить его дьявольскую или, в зависимости от точки зрения, освободительную миссию: он лишает людей рая. Он вводит их в соблазн, учит лжи, люди обнаруживают свою наготу, познают стыд и сладострастие.

До этого момента библейская легенда знакома многим, но Достоевский на этом не останавливается. Сознательно или нет, он выходит за рамки Библии и рассказывает о том, о чем она умалчивает или, в лучшем случае, на что только намекает. Достоевский рисует картину очищения и преображения Люцифера как существа, ищущего участи, постигшей самого Христа: «Я видел их сам, их познал и убедился, я любил их, я страдал за них потом, — говорит Смешной человек, — умолял их, чтобы они распяли меня на кресте, я учил их как сделать крест» (25; 117). Но вместо того, чтобы быть распятым, Смешной человек просыпается, однако не к событиям Пасхи: он причащается к своего рода чуду Троицы. Смешной человек, скрывавший за своей шутовской маской черты Люцифера, теперь исполнен Святого Духа. Так же как и апостолы в первую Троицу, он проповедует Истину, свидетелем которой был сам: «Ибо я видел ее, видел своими глазами, видел всю ее славу» (25; 118). И если апостолов принимали за пьяных, когда они говорили языками ко всем народам, то Смешного человека сочли за сумасшедшего. Ведь его истина — всего лишь сон. Достоевский здесь снова обращается к Евангелию, где в Деяниях Апостолов Петр возражает народу, принявшему апостолов за пьяных, и приводит слова пророка Иоила о том, как Дух Господень будет нисходить на людей: «И юноши ваши буду видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут» (Деян. 2: 17). Исполненный Святого Духа Смешной человек, или преображенный Люцифер, проповедует истину, явившуюся ему видением во сне: «Главное — люби других как себя, вот что главное, и это все, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь как устроиться» (25; 119).

Внутри гностицизма есть направления, в которых, на основе Библии, проводится связь между Христом, Святым Духом и Люцифером: змей обещает Адаму и Еве, что вкусив от запретного плода, они станут как боги, а Христос говорит, что обещание исполнилось: «Вы — боги» (Иоан. 10: 34). В последней главе Откровения Иоанна говорится о времени, когда люди вкусят и от древа жизни, и Иисус называет себя «светлой и утренней звездой» (см.: Отк. 22: 16) — вот некоторые из наиболее очевидных мест. Одна средневековая легенда рассказывает о том, что, когда Люцифер был сброшен на землю, из его короны выпал драгоценный камень и из него был сделан Святой Грааль — чаша, в которой хранится кровь Христа.

Философ Владимир Соловьев в период своего знакомства с Достоевским изучал одно из гностических направлений, сторонники которого назывались офитами, или заклинателями змей. Это направление было особенно распространено в Египте. Офиты, по словам Соловьева, виде-

ли в змее проявление Софии, Божественной Премудрости. Вкусив от древа познания, люди вступили на долгий путь, ведущий из плена злого Бога–создателя к познанию себя и мира, которое в полноте времени раскроется как богопознание. За год до публикации рассказа Достоевского Соловьев написал стихотворение «Песня офитов»:

Белую лилию с розой,  
С алою розою мы сочетаем.  
Тайной пророческой грезой  
Вечную истину мы обретаем.

Вещее слово скажите!  
Жемчуг свой в чашу бросайте скорее!  
Нашу голубку свяжите  
Новыми кольцами древнего змея.

Вольному сердцу не больно...  
Ей ли бояться огня Прометея?  
Чистой голубке привольно  
В пламенных кольцах могучего змея.

Пойте про ярые грозы.  
В ярой грозе мы покой обретаем...  
Белую лилию с розой,  
С алою розою мы сочетаем.

На мистическо–символическом языке Соловьев передает напряженную связь между Христом (белой лилией и жемчужиной) и Святым Духом (голубем) — с одной стороны, а также между змеем с его преображенными страстями (розой) и освященным камнем Люцифера (чашей) — с другой.

Я не стану утверждать, что Достоевский был решительно вдохновлен своим молодым другом, для этого «Сон смешного человека» слишком тесно связан с остальными произведениями Достоевского; общность между стихотворением Соловьева и рассказом Достоевского можно скорее видеть в их принадлежности к жанру, который Достоевский называл фантастическим реализмом. В обоих произведениях отражена та невидимая часть действительности, которая обладает большей степенью реальности, чем видимая.

Нельзя быть «фантастическим реалистом» безнаказанно. Если мы снова обратимся к Балканам, где автор «Сна смешного человека» собирався вести войну, мы найдем еще одну ветвь гностической традиции, с которой связан рассказ Достоевского. Как в первую мировую войну, так и сегодня борьба на Балканах шла и ведется за Боснию–Герцеговину. Со времен разделения церковью эта земля с ее населением представляла собой пограничную зону между западной и восточной церквями, между сербами и хорватами. Такое местоположение в свое время давало возможность выжить гонимой церкви богомилов. Ни западная, ни вос-

точная церкви не имели здесь достаточно власти для преследования. Когда земля оказалась под господством Турции, многие из богомилов перешли в ислам, но это не помешало им сохранить под мусульманским прикрытием важные аспекты своей первоначальной веры вплоть до нашего времени. Помимо прочего к их вере принадлежит представление о том, что у Христа был злой близнец, образ которого можно толковать как образ Люцифера. Таким образом, Достоевский действительно мог встретить своих «младших братьев» на Балканах, но по принципу более высокому, чем национальный.

Национализм свирепствовал на Балканах в течении всего этого столетия. Если рассматривать проблему национализма в перспективе, которую мы провели в связи с Люцифером Достоевского, мы обнаружим, что национализм представляет собой один из сильнейших соблазнов непретворенного Люцифера — с тем напряжением между свободой и проклятием, которое характерно для этого существа. С точки зрения прошлого, в основе которого лежали род и племя, национализм представляет собой нечто большее, а в христианском понимании и лучшее, своего рода развитие способности индивида к солидарности и состраданию. Горизонт нации шире горизонта индивида или семьи, человек вступает в общность, которая рвет с узами кровной связи и эгоизма. Но в течение прошлого столетия национализм стал перерастать в поклонение своей нации как избранной, в шовинизм и империализм, и тогда бесполезно было говорить, как это делал Достоевский, о живущей в нации прекрасной и возвышенной идее. Если существует только один народ, призванный спасти мир, то есть поглотить собой все другие народы, чтобы «вести их, в согласном хоре, к окончательной цели, всем им предназначенной» (25; 17), как пишет Достоевский, то все другие нации должны быть принесены в жертву во имя этого одного народа. Националист думает так же, как и Смешной человек в начале рассказа: он считает, что у мира только один центр — он сам.

Наряду с тем что главный герой в «Сне смешного человека» проходит через очищение, для Достоевского также важно показать жизнь на планете до грехопадения. Григорий Померанц рассматривает непосредственное пребывание людей планеты в настоящем как эссенцию истины всех религий: задача человека состоит в том, чтобы преодолеть свое тщеславие, свою ограниченность и приблизиться к переживанию, познанию всего существующего как полного любви целого. Может показаться, что в мире Достоевского состояние рая отнесено к прошлому. В нем нет места для познания и анализа, только переживание приносит состояние рая.

Но если отбросить анализ, то исчезнет и самостоятельность, как исчезает индивид в национализме Достоевского. Индивид освобождает себе место, разделяя мир, разбивая его на части; способность к анализу и проклятие познавать только одну вещь за раз, не испытывать больше райского чувства единства с настоящим — все эти качества происходят

от Люцифера. В начале они уводят от целого, и рай превращается в ад, но они же составляют и первое условие свободы. Мы видим это в рассказе: Смешной человек плохо помнит, каким образом он развратил людей, он помнит только, что научил их лжи, научил их любить ложь, но, чтобы уметь лгать, необходимо чувство «я», нужен первый шаг к отделению. Ложь — это знак того, что человек видит мир по-другому, не так, как все; иначе говоря, ложь со всем ее злом также несет и весть о том, что человеком сделан первый шаг на пути к свободе, которая также дорога Достоевскому, как и мечта о потерянном или грядущем рае.

Рассматривая рассказ в связи с остальными произведениями Достоевского, мы ясно видим, что для автора главное заключается не в возврате к первоначальному природному состоянию рая, но в обретении переображенного рая. Это — главная тема «Жития великого грешника». В каждом из больших романов Достоевского есть герои, как бы произошедшие с планеты Смешного человека: они несут непосредственное добро и переживание целого, например Соня Мармеладова в «Преступлении и наказании». За исключением романа «Идиот», все они все же не являются главными героями, так как это ведет к тому, что «совершенно прекрасный человек» становится полным идиотом и тогда далеко не смешным. Герои рая всегда были второстепенными в мире Достоевского, они необходимые помощники, напоминающие настоящим героям Достоевского — «великим грешникам» — о том, что существует истина, которую они упустили, но которую могут вновь постигнуть. Если Раскольников и другие «грешники» — люди, открытые как добру, так и злу, то есть обладающие элементом свободы, даже если она выражается в способности ко лжи или преступлению, то Соня Мармеладова и герои, подобные ей, лишены этой свободы. Они осуждены на то, чтобы быть добрыми.

«Великие грешники», наоборот, в каком-то смысле являются отражениями Люцифера. Чтобы понять значение этого, нам необязательно прибегать к гностической традиции, достаточно рассмотреть замысел романа Достоевского. Так же как и в душе падшего ангела, в его романах добро и зло переплетаются друг с другом. Зло, так же как и добро, носит двойственный характер: ничто не может быть только злым, и даже самое тяжкое преступление свидетельствует о присутствии свободы, а значит и надежды. Добро несет свободу, а значит, как условие свободы, и возможность зла. Взгляд Достоевского на добро и зло указывает на то, что рассказ о преображении «великого грешника» должен был быть рассказом о самом Люцифере. Никто в космосе не совершал более тяжкого греха, и никто не устремлялся так высоко, достигнув высшего в преображении: «Я видел их сам, их познал и убедился, я любил их, я страдал за них потом. Я умолял их, чтобы они распяли меня» (25; 117), — говорит главный герой в этом своеобразном «наброске» Достоевского к «Жизни великого грешника» — и затем исполняет свою миссию: проповедует христианскую истину, ставшую одним единым



с его собственной. Темой «Жития великого грешника» было и остается — свободное преображение зла силой любви в добро или, если хотите, крещение Люцифера. В этом заключается «Евангелие» Достоевского.

Его «радостная весть» (как переводится слово «евангелие» с греческого) состоит не в рецепте правильной жизни или указаниях избегать зла, как у Толстого. В мире Достоевского зло имеет свое необходимое место. Без способности поддаваться соблазнам нет свободы. А без свободы нет добра. Достоевский не стремится вычеркнуть зло, он хочет преобразить его, хотя это и опасный план. То, что ему не удалось придать своей идее ту форму и масштаб, которые он задумывал, также может иметь свою причину в «люциферском проклятии» самого писателя. Его романы с той ролью, которую играют в них сны и мечты, и личное мировоззрение Достоевского так, как я представил его в связи с национализмом, носят следы великого Соблазителя. В «Сне смешного человека» Достоевскому все же удалось показать свой замысел.

Преображенный герой не приговорен к добру, как положительные герои Достоевского. После своего путешествия на планету и открытия истины он осознает, что в своей прежней жизни находился в плену у самого себя. Достоевский не выступает против разума и анализа как таковых, он не против развития науки и цивилизации, но он против тщеславного разума и тщеславной веры в то, что божественное целое можно заменить своими собственными завоеваниями и изобретениями. Для того чтобы преодолеть это опасное заблуждение, надо, выражаясь образно, убить свое старое «я», как это делает Смешной человек. Ставрогин и Кириллов также убивают свое «я», но их смерть остается только смертью, она не приносит необходимого преображения, которое, по словам Смешного человека и создателя его образа, чрезвычайно сложно и чрезвычайно легко: «Главное — люби других как себя, вот что главное, и это все, больше ровно ничего на надо» (25; 119). И хотя Смешной человек сознает, что земля никогда не станет раем, он также знает, что никогда не перестанет проповедовать путь в него. Надежда все еще находится на дне сосуда Пандоры.

*Перевод с норвежского Ирины А. Воге*